

Андрей ТАВРОВ

ЗИМА АХАШВЕРОША

Книга стихотворений



Предисловие В.Месяца.

М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2008.
Серийное оформление М. Кагановой.
ISBN 978-5-91627-002-0
64 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Вадим Месяц. [«Приведите крота...»](#)

[Зачерпнула ласточка на ложку...](#)

[Дирижабль](#)

[Зима Ахашвероша](#)

[Бог и Леда](#)

[Рыбы говорят, а спящая Каллисто превращается в медведицу](#)

[Гамлет-груша](#)

[Зима Ахашвероша 2. Крот](#)

[Орфей](#)

[Полифем](#)

[Рыцарь, Смерть, пес \(Дюрер\)](#)

[Зима Ахашвероша. Бассейн](#)

[Рыцарь и Смерть. Дева](#)

[Стихии](#)

[Качели](#)

[Человек-бабочка](#)

[Зима Ахашвероша. Водоросли](#)

[Неважно, что прошло...](#)

[Рыцарь, Смерть, пес](#)

[Зима Ахашвероша 3. Двое](#)

[Butterfly](#)

[Лунный Единорог](#)

[И Брамс в топленом молоке каштана...](#)

[Восьмигранный зеркальный цилиндр...](#)

[Яхты](#)

[Ангел](#)

[Прохожий](#)

[Анемон-Адонис — возлюбленный Афродиты Урании](#)

[Метаморфоза кузнечика](#)

[Вещество Софии Владимира Соловьева](#)

[Аталанту и Гиппомена ревнивая Афродита превращает в двух львов](#)

[Верблюд Ахашвероша](#)

[Магдалина](#)

*Так: изменяется все, но не гибнет ничто и, блуждая,
Входит туда и сюда; тела занимает любые
Дух...*

Овидий, «Метаморфозы»

*Раз уж пустился я плыть по открытому морю и ветром
Парус напряжен, — скажу: постоянного нет во
вселенной,
Все в ней течет — и зыбок любой образуемый облик.*

Овидий, там же

*Имя «Агасфер» — это стилизованное библейское имя,
которое было произвольно заимствовано из
ветхозаветной легенды об Эсфири, где еврейским
«Ahashwerosh» было передано имя персидского царя
Ксеркса. В более ранних версиях легенды встречались и
другие имена — Эспера-Диос («надейся на бога»),
Бутадеус («ударивший бога»), Картафил.
Согласно легенде, Агасфер во время страдальческого
пути Иисуса Христа на Голгофу оскорбительно отказал
ему в кратком отдыхе и безжалостно велел идти
дальше. За это он был наказан — ему самому отказано в
покое, он обречён из века в век безостановочно
скитаться, дожидаясь второго пришествия Христа,
который сможет снять с него зарок.*

Мифологический словарь

*Появился у ложа Агасфера дух Света и промолвил:
«Трудна жизнь в мирах не высоких, но только через нее
лежит путь к высотам несказанным».*

Свидетельство, слышанное Паулем фон Эйтценом, доктором
богословия,
от некоего собеседника Ahasveros'a, Вечного Жида

* * *

Зачерпнула ласточка на ложку
пламени реки, на каплю, на наперсток.
Это значит — чья-то жизнь погасла,
значит, Одиссей великий умер.

И несет его на крыльях, как на веслах,
лебединый стан, как свет в подоле.
Оплывает воск его божественного тела —
опускается звезда свечи до сердца.

ДИРИЖАБЛЬ

Е.Р.

Сильные, они мускул вложили в лепесток фиалки.
В дверцу сердца стучится с трамваем смешанный леопард,
невидимка играет в небе, как луч в бутылке.
По пояс в земле феаки плывут назад.

Дева какая ходила за светом, как по воду к речке-колодцу,
муж какой его в ведрах носил — в черепах-черепахах?
Кто в небе пляшет, невидим, колышется и клянется?
Кто его плугом вспахал, вычерпал землечерпалкой?

Как выглядит мир на самом деле? — Никак.
Если ложкой не взять из-за века земли — цветку не взойти.
Бабочка снова сжимается в кокон, а после в пятак,
раскаленный паяльной лампой в сухой горсти.

Мелькающий невидимка, постой, покружись, сожмись
в череп, костер, в меня, в феака с материком.
Я — это значит, если названа сызнова жизнь
распавшимся до золы, но воскресшим, как холм, языком.

Это когда трамвай и когда леопард в упор,
исподлобья идут, посланы сгоряча,
чтобы в холм войти и вынести свет и сор,
сгущая из блуда плоть до плода — луча, луча!

Про три своих имени «Cats» поют в мировой Москве,
невидимка порхает меж рельсом и языком.
Муравьиная дева стоит надо мной по колени в постели, в воде,
я парю, дирижабль, меж светящихся ног, как траншея с лунным
цветком.

ЗИМА АХАШВЕРОША

Зима Ахашвероша наступает. Галки
хлопочут в воздухе. Улица ведет к пустыне
с бензозаправкой. Витрина с «Рассо» взята не в фокус.
Не надо новых слов, этих достаточно. Галки
хлопочут в воздухе. И белей гусыни
взятый не в фокус снег. Зима Ахашвероша наступает.

Время, словно змея, жалит хвост попугая,
сделанного из мармелада. Голуби роются на помойке.
Пуля блуждает внутри пожилого тела, вслепую
ощупывая лабиринт руками — они красны.
Воздух сжимается в голубя и пускается врассыпную —
теперь он снежинка, блондинка и все такое.

Ахашверош стоит как снег, в гортани его — слово
о том, что поэзия знает больше
реки, расцветающей, что ни весна, берегами,
больше слов о конце и начале, великих и чуждых,
больше той, что после полуночи царапает вам лопатки,
больше той, с ложбинкой в паху, окруженной цветущей вишней.

Никто ничего не знает этой зимой.
Стынут рельсы, идут часы, самолеты летят домой.
Никто не видал кашалота, вынудшего кобелиный уд.
Не было ни ничто и ни всхлипа, мы растаяли сами в себе,
медленно, как мармелад за щекой, в собственной теплой слюне,
которой не осталось и на плевков.

*нежные они трогают волосы золотыми колокольцами
дриады зеленые волнуют тебя голубиной песней
вишневой с горчинкой умножают твой шаг как маятник
заливы с парусом серебряным дышат бризом любимая здесь
здесь она обнимая единорога за шею на солнечной в бризе веранде...*

И пуля обрастает верблюдом с ракушкой пустой головы.

БОГ И ЛЕДА

Бог всасывался в эту белизну,
словно Мальштрем в мизинец, и крутились
в Европе мельницы, и шли к окну
Единорог и волк, и там вращались,
воронкой втягиваясь с домом в глубину.

Свой вдох, что превышал звезду и поле,
бог перенес вовне себя, и там,
как ветер в авиатрубе, штурмует фюзеляж лебяжий.
Он новым всасывался в лебеда объемом,
где все миры расположились и все крыши.

И мир сползал, словно тюлень, по льдине
в сиянье лебеда. И лица стали лампы
или огонь, завитый в жгут в камине,
затянутый наверх, в себя, до дна,
напором золотым, как шлангом помпы.

Так смерч идет по берегу Оки —
сквозь в поле зеркалом разбросанные лужи,
и, прикоснувшись, образует взрыв —
на миг зависло облако из капель
и пальцами перебирает призрак новой формы.

Вот тем он был. Тем, что вложил вовнутрь —
Шанель, кентавров в драке, «мицубиси»,
заход бомбардировщиков с Луны
на Дрезден, лунный кратер, водку в парке
и поцелуй в такси, и Ангела над Осло.

И каждый в мире стал, как он: —
крестьянин с вязкой дров, матрос на мачте,
команда танкера и сброд из джипов,
и лейтенант, долбящий в танке полигон,
вошли в безмерность, как товар по почте.

И Рыбы Медичи, стога и чащи
вошли в него, что собран из взлетевших

под смерчем капель, собран из опавших
звезд, листьев, желудей, из бывших
живых — сложились в лебедя, как в ухо.

Скрипел возок. Луна дразнила берег
с помойками и гвалтом жадных чаек.
И становилось всё себя бездонней,
вбирая вместе с лебедем причастье —
ту часть свою, что предваряла бога.

И снег стоял, не ведая себя.
И не горела Троя, но излука
светилась тем, что знают боги детства.
Век Золотой мигнул, как Пан из чащи,
и каждый в свет вошел, живой и мертвый.

А Он плывет по лону, что прогнулось
и испарилось бы за миг, как вспышка
ненужного для бога вещества,
когда б не слезы состраданья, восхищенье
богов всем тем, что создали они.

И он подплыл к тем розовым коленям,
где, как слепец, стояла тишина,
ощупывая, кто кого отныне
берет и превосходит — Бог ли деву,
иль дева, что богов переросла.

И Леда с Лебедем — очки на белом.
Вселенная заходит в них, как в двери.
И каждый, кто зашел, мерцает сам
на зеркале воды, сам — Бог и Леда.
Мир — завершен. Но все ж не остановлен.

РЫБЫ ГОВОРЯТ,
А СПЯЩАЯ КАЛЛИСТО
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЕДВЕДИЦУ

Горбатый герб — двух Рыб живых баланс,
как рот лежащей — выпуклый, плакучий.
Одна другой — как яхта и балласт,

как слезы на губе и соль созвучий.

Не говори про смерть, забыв про свет.
И холм могильный — как пузырь подводный,
лишь держит глубину в воде голодной,
и в нем прыжок, словно пружина, спит.

И, чем алей губа — бледней другая,
чем солонее день, тем слаще ночь.
Войди в себя, как в чернозем ступая.
И полигон грохочет в купах роц.

Рот Медичи, как силомер, серебрян,
и роца в солнце, словно дирижабль,
и их костер зарыт, но не утерян,
и языками вниз они лежат.

Прохожий как разъят на жизнь и на лопатки!
на выстрел в бровь и замиранье — в пах,
на крылья и нору, на грудь мулатки
и глаз единорога в камышах!

Кто Рыб сцепил в крови по кров, по ворот,
и с сушки с пузырем кто соль слизал?
И кто стоит в ночи, собой распорот,
чтобы живой пузырь с земли поднять?

Кров Медичи. Фруктовый ножик камня.
Сквозь жабру серафима дышит Ночь.
Сцепились рыбы от звезды до шприца,
сжимая мир, как светоротый крот.

А ты лежишь, и проросло колено
ракушкой золотой, а шерстью — глаз.
И ты лежишь, медведица, у речки —
язык парит, как в воздухе дельфин.

ГАМЛЕТ-ГРУША

Грушевидный Гамлет с половинкой груши совпал, завязался,
отвязался байдаркой замоскворецкой, веслом зеленым.
Вложен в логово виолончели-виолы, плачет

между коленей, Офелия, яблочных, круглых твоих.
Набережная и сады заляпаны алебастром.

Лунный колыхнется звук меж коленей девы, расставленных, словно в
родах.

Он хочет простые вещи мира — груши и стулья.
Его череп от скул свела кислота и продажная лира,
и лопнув, как лев, она выгоняет шершней из улья.
Он зовет к себе круг и глоток — простые, простые вещи мира.

Офелия, словно улитка, ползет по стене, зажимая виолу ногами,
волнообразной спиной прилипая к реке вертикальной.
Света бы — на наперсток, на перст, на ноготь, чистого, словно гул
ветра в стволах ружейных, сильного, словно отдача приклада!
По Язуе синей Офелия-кукла плывет с принцем-грушей в коленях.

Войди в эту воду раз и больше не выходи,
зажги глаза и стреляй на звук в зеркало-леопарда.
Внутри синей окружности натяни, как квадрат, нити,
зайди туда, выйди, как человек Леонардо.
Ты хочешь простых вещей — вот они, перетекают.

Вот зажал, как снежок, леопард в пасти вязкую грушу,
до смерти хочет вжаться в нее — до позвонка, до бега,
до века, завязшего в эту синюю-синюю душу.
Из нее отворяется дверь — снегопада, снежинок, снега,
Гамлет-семечко стал, чем хотел — пригоршнями снежинок.

Грушевидность твоя мне претила, как небо мое,
как Офелия-дева, что молнию в зубы взяла
и зигзаг, как тесак, отложила, как свет без краев,
а безрукую вспышку нам в сердце с тобой загнала,
и мы в сланце, как в свете, идем, и в виолы легли чернозем.

ЗИМА АХАШВЕРОША 2. КРОТ

Придите, полные света, неизреченного звука!
Придите, Ангелы, но приведите с собой крота.
Придите, блаженные, изводящие свет и лимон из черепа Левиафана.
Немыслимые! Без вас из-под языка вынута ложка жизни.
Страшные, сожигающие во мне все, что придумала про меня чернь,
дремлющая заживо.

Я вашим светом исколот и одинок, как наперсток на дне океана.
Придите, несокрушимые, но приведите с собой крота.

Или вы видите иначе, чем я? Я был — вами. Мне было страшно.
Через ваши глаза в меня заглядывают иллюминаторы авианосца.
Ваши «МИГи» и «Флайерсы» для тех, кто стрелял в себя, как в енота.
Ваши цветы на капитанском столе,
окурок с вонью дымка — вы их не различите.
Но я, я их вижу. Придите, настаньте, бессмертные.
И я, и вы, мы должны составить одно тихое слово,
растаять до вмерзшего в лед рта.

Тот, кто умирал, слышит скрип колодца, как харкает стартер на морозе.
Не зайти смерти дальше, чем смерть. — Мы с вами
ходили дальше. Вы знаете, что там. — Вы сами.
Мы уходили за ребро бытия, как кузнечик за баржу, но я предпочел
остаться
здесь, где я — *тот, кто не узнал*. Если Свет предстоит — великим,
то я — не с великими. С теми, с пропащими, с кем ничего не поделать.

Кашалот фосфоресцирует, догнивая на отмели, как птичья клетка.
Ты сидишь в комнате, наморщив лоб, в руке пульт,
в другой сломанная кукла.
Мертвая мать догоняет сына на трамвайной остановке —
как же прекрасна ты, ма, как свободна теперь, юна, поцелуй на виске,
подкова танцующего небом зеленым Пана!
Собой мы упразднены и ничего не значим,
кроме того, что — не мы. Придите,
блаженные!

На скрипках огня сыграйте нам наш собственный танец,
от которого мы отrekliсь.
Уж лучше голым в волчью шкуру любви, как Видадь.
Не верю, что в вас есть маятник, паровоз, какой-нибудь, что ли, пентиум
—
вы слишком легкомысленны, вы слишком мудры по-детски
для этих умных вещей. Неторопливость в вашем сиянье.
Мужчина в доме играет в тюленя.
Дева провидит куклу. Под одеялом тешит себя Джома
Лунгма.

Я говорю, вас много, как булавочных головок,
но меньше, чем облетающий лист ваше зренье, меньше удара виска.
Бог входит к вам, разделет догола, как в аэропорту на контроле.

А вы белы, вплывая в сердце, как теплоход в кубе прозрачности —
шлюзе,
поднимаясь к горлу. Клык гнут у льва. Пойди, застрелись где-нибудь,
вот тебе, брат, железо.
Бабочка впивается в солнце, чтобы проснуться.

О, если бы вы расслышали, что говорю сейчас
про буквы, трубы и саранчу — не слова, а то, что было
вместо них, до них — меня самого, вы поразились бы малости нашей,
от которой зависит ваше сиянье. Устыдитесь!
Вам говорю я, бесстрастные. Пылкость и поворот двери.

Я не скажу ясней, кроме того, что Ангелы
не спасут нас, скорее, убьют — вы сами спасете других.
Но слава вам, блаженные, за смерть, сиянье и правду в когтях!
Вот крот идет, на нем золотая пожарная каска,
в руке турецкая сабля,
орел сидит у него на плече в барабан играет.
Я изрыт бытием его невыносимым, как нарзан пузырьками.

ОРФЕЙ

Он идет из комнаты в комнату, Гермес на плече —
похожа одна на другую, но невыразима.
В каждой похожей стоит по сухой свече,
сделанной из дождя, точки над «и» и дыма.

Одна комната серая, другая как мел,
а третья словно слюна во рту субмарины.
Он шел, сделан из слов и медуз, и почти не пел,
и глаза его — словно вспоротая перина,

разошедшаяся внутрь себя, как в конце все, что любит, — как вена,
Ясон и Медея, тувелька, пузырик нарзана, зонт, серафим,
лоб Беатриче, освещенный лампой, словно колено
ее же, словно колено, восходящее словом дым.

Он идет из комнаты в комнату, Гермес на плече,
похожий на портсигар с расстрельным руно золотым,
похожий на набитую золотом-ртутью сирень в ручье,
шевелиющуюся не как вода, а как слон и дым.

Комнаты ничем не отличны. В каждой свеча.
Кто-то поет. Стирают белье за стеной. Но чело
его было, как хобот слона, парафина парча.
Он спрашивает из него Бога и слышит ответ: «Ничего!»

В венецийских каналах распят Христос, и сирень
сходила с ума от оранжевых ос золотых, и порог
ждал красавиц с подножки ракушки,
но отражением пуля расширена как олень.
Он спрашивает, спрашивает — и слышит ответ на вопрос
«чего от нас хочет Бог?»

ПОЛИФЕМ

Я сошелся в себя собой, словно глаз Циклопа —
только во лбу у него. Он бродит мысом
и дудочку мастерит, чтобы в центр циклона
языком продвинуть снег-поцелуй, что высох.

Скоро осень. Кем я был прежде, не помню,
дробился и распадался, как бот в цунами, на части.
И только во лбу у него собою я жив и полон,
как светом рубин, ввинченный в лоб Будды.

Никто, он видит Циклопа, как он идет дождем,
крестьянскую начерно песнь поет Галатее,
как череп его, пробит и насквозь прожжен,
в луже лежит у казарм, мокнет в моче, и

я витаю над ним — собран, блажен, един,
небо, как муравейник, шевелится надо мною,
и каждой из двуязыких, жалящих ночь седин,
я в небе имен, как подкову, себя зарюю.

РЫЦАРЬ, СМЕРТЬ, ПЕС (ДЮРЕР)

Он скачет, легок тяжестью земной,
в нем пробуждающий сгустился сон.
Как ржавый танкер, он пророс собой,
и роет воздух, словно волны слон.

Как крот капеллы, весь в чернилах звезд,
он вспучивает вспять небесный холм.

Он там уже, где должен быть потом.
Он смертью взят, словно разжал ладонь,
и крот ее прорыл, втокнул звездой
из яблока могил в колодец световой.
Как катер в водорослях озером оброс,
он латы затопил на дне своих волос.

Он глубию окружил железное яйцо
и в протоплазме роет ход по локоть.
И день идет, и светлый вьется локон,
и слава лепит белое лицо.
На сносях ангелы, и свет летит из окон,
взрыхлив коня, как пыль из-под пяты.

Ты больше, чем звезда. Тобой набухла твердь.
Ты в глотке словом полн, пустым и безымянным.
В глотке плывет челнок, в нем вытянулась Смерть
с медузой из холма и флейтой оловянной.
Но лает и юлит пес над землей стеклянной,
глубок и бос, как над Синаем твердь.

ЗИМА АХАШВЕРОША. БАССЕЙН

Нас видят Ангелы, но так, как мы себя
не видим. И когда б мы взглядом их
себя увидели, то смерть вошла б в глаза
и ужас в сердце: мы ли это? Мы!
Святые состоят из нашей смерти —
из пламени всего, что мы так ценим.

Но нет ли небреженья в том, что вам
не любопытны наши боль и страхи,
ни наши книги и ни наши смерти,
ни наш мучительный и угловатый Бог,
живущий тягостно в горбатых храмах,
ни наш вопрос, что обжигает губы:
«Неужто приходил, Христос, Ты зря?»
Ведь ничего с тех пор не изменилось —

и червь в земле стоит, а кровь в глазах.

Так нет ли тут презренья к нам, Святые?
К любви и страхам нашим, к росту цен,
к Версаче, Эйвону и Ламборгини?
Ведь это формы, что вместили нас.
Ведь это — наша жизнь, для вас она
неразличима, как и ваши формы
неосязаемы для нас. Но вас мы чтим.

И вот, пока кричал я это в небо
на берегу цементного бассейна,
передо мной прошли герои, —
проросшие и нимбом, и травой,
с копьем или веслом в руке, с богиней
Победы за плечом. И серый дрозд
в ветвях куста следил за их парадом.

Он молча созерцал великих строй,
но два крыла ему разъяли спину
на две губы и жало между ними.
И он сказал: «Нет в Ангелах презренья.
Но недоступен сам себе ты и своей,
тебе неясной сути. Твой пейзаж
со старой мельницей, «пантерой» и войной,
с пежо у церкви, с белой девой секса
и с Мерлин, канувшей в глубь капельки Шанели,
с переплетеньем мертвеца с червем —
тобой проложен меж тобою и тобой же,
чтоб ты, Себя коснувшись, не сгорел.
Ты вылепил все эти вещи как спасенье
себя же от Себя. Ты выдумал все это,
весь этот занавес меж фениксом и ветром,
той силой, от которой отвернулся.
Герой или трава — кто бог из них?
И кто кого пронзил? И кто сильнее?
Пронзи себя Собой — и исцелись».

А ходят Ангелы как в валенках, в сугробах
из света и мелодий новой жизни,
вытягивая руки из стекла,
и видят нас как вечное струенье,
как свет с едва очерченной формой,
пока мы варим борщ, или в трамвае

из сумочки чужой бумажник тянем,
или стреляем в стриженный затылок, —
и говорят: нет Моцарта в могиле.
А раз они его не видят там,
то остальных там тоже нет.
Мы — там их создали. Мы свято верим в смерть.
Они — не верят.

РЫЦАРЬ И СМЕРТЬ. ДЕВА

В разъятых створках сжатое тепло.
Медовый мускул плазмы и медузы
колышет небо, чтобы затекло,
как синька, в рот зажавшей губы розы —
луч греется внутри, ему темно
меж лепестков, хрустящих, как укусы.

Его несет земля и позвонок,
обросший, как трава, конем, зарытым
в холм притяженья в шесть подков, огнем
и сточенной луной в кривых копытах.
Он всосан в устрицу, слепой волны избыток,
и вывернут землей, как нежный крот.

Меж небом и землей кто свой пятак протиснет —
в копилку, под язык, прозрачнее медуз? —
ведь там они сошлись — под розой мягковатой,
в словесный, мятный, сыромятный вкус,
растущий розой из пяты, разъятой
на ласточку небес и грош под нёбом.

Играет смерть во сне безгубой трелью,
и пес беспал и шестирук,
как тот язык в земле, что стал свирелью,
осыпался вовнутрь, воскрес, взошел на звук
губ, сильных, как прилив, что океан, серебрян,
завел в лицо и красным цветом вспух.

А дева все идет собой наполовину,
причастная к земле, по пояс девства в ней,
и монгольфьер вверху играет, как ручей, —
не сжать ее в подкову иль лавину,

и небо свой язык, воскресший ночью львиной,
в стоустую продвинет розу в ней.

А он в коне сидит, как черепаха,
и синей глиной выгнут и богат,
и месит лоно ей, и сумрачен, и сжат.
И роза восстает из языка и праха. —
Потерянный, в свой дом вернулся неба брат,
один на всех, как смертная рубаха.

СТИХИИ

Вода — вкладывает в тебя ладонь.
И собирает череп по швам, как крышу, — огонь.
И земля — вкладывает ребро,
а воздух — речь, чтоб бровь, словно луч, влекло.

А ты вкладываешь себя — в свет,
и ладонь — в чернозем: в звук,
и язык, словно в жизнь — в смерть,
чтоб взошел, когда слову не хватит рук.

КАЧЕЛИ

Приклеенная жвачкой зажигалка
меняет пламя на доске качелей.
На выстрел пушки и на вес ядра
прозрачного — у рожи никого.
И тихо так, что слышен плеск ручья.
И треплет зірро малый свой язык,
чтоб красный уходил на дно себя.

Скрипят качели, плещет огонек,
она качается на лунном камне,
язык прибит отдельно, как слюда.

Она качается, они стоят.
Из лунной пыли всё и изо льда сухого.
Болты скрипят, а огонек — язык

и соловьиная пята одновременно.

Куда уйдешь вперед пустой спиной,
пустой, как города и кокаин, и мякоть мухомора?
Я тебя ненавижу за серебряную твою расческу,
за малиновый твой платок, за прикид из Гуччи,
за ментол изо рта, за гребаные твои речи, за зубную щетку
и речной трамвайчик на утренней речке в развороте.

Скрипят качели — то она в одном
глазу кота, как в ходиках, сверкнет,
то подмигнет в другом. Ядро и тишина.

Богов мы обманули, и глаза
заходят в череп язычком огня,
чтоб расплелась коса в виду Аида,
чтобы фиалка нарастала в нем,
сгущая кость до неба морехода.

Мычит Филомела, вырванный теплый язык
рыбой кровавой гуляет, плющится по серебристому полу.
Опрокинута дева насильно, словно красный моллюск,
замотанный в плоть, как в смирительную рубашку —
пальцы, вцепившись, ушли далёко в погоне за правдой.
Небо другое наполняет плотью Терей,
стачивает звезду, как каблук, вопль крылатый, безрукий.

Соловей над розой колдует — над собственным вынутым горлом,
а мы уходим спинами — мыльными пузырями,
забирая в ковши ласточек со снегирами,
из каждой зажигалки выпрастывается глаз бога,
колеблясь, вглядывается, есть ли еще в округе дерево, куст, дорога.
Но они гоняются друг за другом, толпа за толпой,
захватывая с размаху воздух пустой пятой,
их леопард ложками ест пустоту и гадит птичьей трухой,
их дети приходят на водопой,
отражаясь в воде оторванной головой.

Филомела, дитя мое, надень это газовое платье, в путь отправляясь,
ложись в самолет догола, словно в холм безымянного девства,
в черную башню своего языка, как в колодец неба.

ЧЕЛОВЕК-БАБОЧКА

Человек-бабочка танцует на побережье,
половина его лица сидит на Собачьей Площадке.
Великие волны в берег песчаный бьются.
В его крылья вжат динамит с вазелином, он бежев.
Два его сердца, как свечи, в воздухе отпечатки
не оставляют, он — пуст, как ладонь, как птица.

Он танцует на побережье, он подкидывает себя в воздух.
В мягких пластиковых местах сознания — он сам их создал —
такое возможно, что ты — махаон и ветер,
что — завтрашний панцирь ты, холм, до черепа сжатый.
И вы отдельны — порхаешь и круглится —
настолько, насколько длина между вами — нить жизни.

Священные волны бьются, корабль набегаёт грудью.
Усики твои, шелкокрыл, глаза-промокашки
паутиной тянутся к человеку в бейсболке,
так тянется свежий клей, если плоскости вдруг разъяты.
Одиссей падает в собственные глаза — ромашки.
У человека-бабочки родичи — лисы, форель да волки.

Он уже свершил то, что ему предстоит в дальнейшем.
Липкие нити от сердца его — до любой на свете
бабочки. Он разъят, как яблоко или гейша-
устрица в час, когда родились и уплыли дети,
оставляя сети и зеркала для бабочек Амазонки,
оставляя сукровицу на полу — слизь вашей общей сути.

Его бабочки живы в каждой звезде, череде, подкове,
в конском глазу, в навывлет и навзничь брови —
любой: совиной, незванной, огненной, ангельски-рыжей,
любим спеленут кремнем, ветром, портиком, жижей,
и пес в коре и крови висит на правом боку,
как Актеон на снегу, распахнутый на бегу.

Какой там корабль птицы несут на нитях?
Нет такой точки, к которой ты не привязан
и вновь отвязан: одно — смех и смерть у свободы
быть человеком-бабочкой, у которой Улисс в молитве
спрашивает дорогу, шевеля, как мусор, ресницами горизонты,

и тянется смола гениталий — к звезде-Цирцее, к янтарю очага.

ЗИМА АХАШВЕРОША. ВОДОРΟΣЛИ

Зачем вам сердце мое, Ангелы?

Вам, не нуждающимся ни в чем на свете.

Но вы им — *есть*. Как я *есть* — вами.

Мы живем далеко друг от друга, вы — от источника жизни своей — меня, я — от начала своей — Михаэля архангела Джабриэля и Азраила. Вот оно сердце — раковина пустая.

Вот она, вылепленная жидкой сиренью и воплями кошек, пощечиной дочери, плоской, как раздавленный червь могильный, и опадающим лесом осенним, колеблемым Бога дыханием, как восходящие марганца нити в шаткой воде.

Кого нагоняет раковина своей бездонной спиралью, какого бога, куклу какую?

Нет важного — ничего. Соделайте важным Бога и Ангелов — и вы потеряете их, останетесь с важностью вашей, со своими храмами, словами и войнами, но — не с ними, не с ними. Для Бога нет важного ничего. Говорю вам — для Бога нет, вообще, ничего. Только то, что есть прямо сейчас, прямо здесь: снегопад над Lorbacherstrasse или фонарь на Тверской.

Излучина реки в тихом плеске, почти что в неподвижности, колыхание царственных водорослей, проступающих сквозь. Вертолет распадается в воздухе, но души идут дальше, не замечая взрыва и смерти, потому что их нет больше для того, кто проступает из потока, как водоросль, смиренно колышась, качаясь в такт биению сердца, мерцанию звезды.

Сквозь безымянного Ангела, полного влаги, течения, — мы проступаем. Не жесткие вещи мира, обреченные распасться от удара ракеты, Боинга, туберкулеза — мы проступаем — отчасти. Проступаем, окутаны тем, что доселе невидимо.

Так проступает в детстве игрушка — подводная лодка сквозь зелень бассейна, под ивой плакучей, зеленой, как Ангел.

Из глубины, целомудренно, колеблясь волосами в потоке, несомые Ангелом, мы проступаем.

Из себя самих восходя и вновь погружаясь.
Зачиная и завершая. Собирая камни себя и снова утрачивая.
Направо, налево — как удары о колокол языка.
На скорости бесконечной потока, где свет стоит неподвижен.

Вы, БУКВЫ мира — Европа, верблюд, Назарет,
вы, его СЛОГИ, — дерево, гамлет, колодец, дом и лицо.
Вас нет вне потока. Им, вызволяющим, прячущим им
снова названы вы, проступая вовнутрь и вовне,
поднимаясь и опускаясь. Колеблясь.
Не слово бесплотное Ангела, нет, но человека — слово в *воскресшей*
плоти, —

в достоинстве слепка, смеси из света и формы,
в равновесии из сострадания и силы, в памяти о бывшей смерти
возможном,
и спираль ракушки входит в нее, как рука в перчатку,
и вновь уходит, зовя за собой. Один поток
колеблет слова: роза, облако, камень, дорога, рука.
Единый давно проступил сквозь тебя, но ты не заметил.

Ты минуешь ржавые фабрики, подземные гаражи,
идешь по набережной, слушаешь музыку из кафе или шум деревьев,
одинок и бессилён. Распускается роза, как камень,
и вода нейлоном шуршит. Кабан прорывает тоннель
в зеркале и Адонисе. Джон парит над могилой своей как сигара.
И разрывает бабочка нулевой Гринвич прозрачной молнией бивня.

* * *

Г. Н.

Неважно, что прошло,
Бог знает сколько лет,
и статуи тепло
перевязали — в свет,

и он вошел в рукав,
как ветер во дворце,
и черный стриж, упав,
всё губы вьет в лице.

Неважно, что забыл,
неважно, что — поврозь,
чем жарче смерти пыл,
тем легче жизни осьь,

поскольку луч прошел,
как камушек — водой,
и свет встает, как шелк,
играя со стопой.

Как Лао-цзы изрек —
кто тверд, тот обречен.
Нет форм — один поток,
играющий свечой.

Асфальт, прибой, твоя,
на дюйм выше колен
и перелетная,
не попадутся в плен

жестокости крыла
и жесткости руки.
И то, чем ты была
на спуске, у реки,

распад сводя на нет
и свет замкнув в карман
все менее предмет,
все более туман.

РЫЦАРЬ, СМЕРТЬ, ПЕС

Собой растекся внутрь по форме,
и, вновь окрепнув, словно воск,
он поднимается, как корни,
от перегноя до волос.
И соловей соловый в кроне
струится вниз, простоголос.

Ракушки ввязывались в плечи
и латы проросли травой,
и гнулись трубы, словно свечи,

а он, клубясь, всходил собой,
как дым из раскаленной печи,
всечеловечный, нарезной.

До неба сильного слабея
и запекаясь в глубь зрачка,
он, как мелодия простая,
рос из воздушного зерна
и расходился вспять кругами,
на небо грудью наращен.

Легка когтистая дорога,
а смерть мучнистая долга,
чтоб впасть в себя и выпасть — в Бога,
как на рассвете облака.
И проросла в доске порога
с фиалкой девичья рука.

О, угловатый недотрога,
полей и роц везучий плод,
ты узел, что ввязал в дорогу
Париж и византийский лед,
дым в запятую взял и в локон,
и липнет память, словно мед.

Медуза, первенец желейный
и беззащитный свет вприрост,
во тьме убогой и железной
какой ты дар сюда привез? —
Крик райской птицы бессловесной —
стальной, смертельный, бесполезный.

ЗИМА АХАШВЕРОША 3. ДВОЕ

Словно блесна, играет блеск бабочка в небе, река
тяжелеет от ее отраженья, как монгольфьер от танка.
Двое на крае леса — джинсы, белая, как облака,
футболка, поцелуй-барашек, его изнанка

в помаде — волшебная карта мира, одна на двоих. Уснули,
как водоросли перебирая собой в веществе потока,
ощупывая друг друга и подражая соли,

сахару и леденцу, растворяя себя до паха,

до пят и праха, кузнечика и пролива
гибралтарова времени, застегнуты друг за друга
серебристыми спинами, словно с крышкой часы — олива
из серебра и дыханья, фирмы старинной «Mozer». И ты до срока,

Ангел, не тронь их. Вслушайся в то, что шелестит между ними.
Скажи, лунноокий, простертый за мирозданье и сфинкса,
не твое ль вещество и природу сейчас они полонили? В нимбе
не твоей ли палящей жизни простерты теперь, как спицы,

вынутые из обода привычных маршрутов и в обод
нимба Губителя-Ангела вросшие сонно, в Сатурново пламя?
Скажи, не ты ли, Великий, бессилен перед судьбой их сейчас, словно
лепет
девочки малой или бесплодное лоно

за миг до зачатия? Не мне говорить тебе дольше.
Мятный холодок уже двоится на красного льва и облачко с поршнем.
Область владений их — вспышка над никелем шершня,
метнувшегося за велосипедным звонком.

Ах, если б знали они, какой ветерок сейчас их колышет...

BUTTERFLY

Е.М.

Пиджак и джинсы. Под коленкой, в виде
«А» установленного на ограде
балкона, плещет море, запах мидий
плывет дельфином, гнется в винограде.
Пиджак, растрепанные патлы, джинсы,
дельфин плывет серебряней и звонче,
чем кубок с виноградом, плоче линзы,
и он раздвоен, словно пара гончих.

И море в треугольнике колена,
как роза, треугольная от жажды
избыть все лишнее, как линза и камена
с богиней, что ушла с нее однажды,
оставив ей сиянье. Виноград,

и парусник вдали, загар лодыжек,
лепешка солнца тысячей карат
сгорает в линзе, и бегут барашки.

Он смотрит вдаль, где сдвоен, как стволы,
ползет дельфин дымком стволов наклонных.
Он собран в скобку. Чист, как уголь золы.
Он — бабочка. Он — в крыльях махаона.
Он не пойдет. Он не взлетит. Он не
придет туда и не уйдет оттуда.
Он нужен вне. Он сужен на волне.
Он был зазря. Он выбыл ниоткуда.

Он море в треугольнике, он две
тончайших лопасти и две других под ними.
Он умер завтра, он свеча в траве,
он руки рыб, он ими держит имя.
Он золотой в шелку, он паж в паху,
он — ничего не происходит. Он же —
мечеть в виске и кошка Кэт в снегу.
Он лев в аорте, лен, он лона тоньше.

Он треугольник и дельфин, балкон
и мидии, он собран зря, разобран,
он человек вошедший в махаон,
ушко иголки — вдет, пронизан, сорван.
Он холм, он тот, которого ты без
умрешь однажды, если не приколешь
лес рук его и выпуклость небес
к лопатке бабочки, рванувшейся на помощь.

ЛУННЫЙ ЕДИНОРОГ

Там, где ты оставляешь вереницу следов,
он оставляет точку.
Он виртуозней, он совершенней тебя.
Там, где проходит он — ты яблоко из серебра,
парящее рядом с бивнем, вошедшим в толщу

звука. Лунный единорог идет за твоей спиной,
когда тебе больно или белы от улыбки
зубы. Он — тооп, он пещерой встал за тобой,

ведущей к Луне от твоих лопаток медленнее улитки.
Он — путь домой.

Он — в виске. Он единорог оттого,
что ты мармеладный ангел, которому страшно спать,
растопырясь в сонате, как белая ветвь.
Он стоит за твоей спиной,
вынут из нее, как лунная виолончель из ванны.
И... он дрожит струной.

Он — это ты между красным трамваем и храмом,
продолженная молитвой, прудом, снегирем, малиновым выдохом.
Он белее смерти, он наполнен скачущим градом,
неуловим, как выхухоль.
Лунный единорог — это ты, беспалым не взятая взглядом.

Он соберет октаву неба на край перста
щепоткой, сросшейся в лунный бивень.
Он вылепит лунное яблоко из твоего креста
и вложит в глазницу. Он чист, как ливень,
и вишенка в позвоночнике твоем пуста.

Лунный единорог — враг, детеныш, зверь,
состоящий из поцелуев, как из подков жираф,
как ангел — из парусов, как белая дверь —
из простора за ней, как теплый шарф —
из пропавшего горла, из птичьих рулад потерь.

Он снимет с неба ангела и сурьму,
и дрожит, как бабочка, в распиле зрачка,
и уходит не в трюм — в тюрьму, вытянутую в струну,
и бьется в нее, ударом смычка,
одевая тебя не в звук — в царскую тишину.

В катерине заката, в катрене луча
он кричит, как птица, сбежав с плеча,
он стоит, как луч, на краю луча,
золотой, как парча.
И жизнь во лбу горит, как свеча —
до смерти горяча.

* * *

И Брамс в топленом молоке каштана,
в соцветьях, ввинченных, как галька в воду,
в Москву пришел, нахмурен долгожданно,
разжат и решкой выброшен в свободу.

И Моцарт пляшет в спичечных скорлупках
дождя и парка, челка просит щетки.
Ты — марсианский дрозд в чужих проулках
и Клеопатра с отраженной лодки.

Ты, птица, — мне беда, ты на плече
единорога севшая — мне свечка,
мне — мука, муза, музыка, осечка,
ручей и ключ, и золотой в ключе.

Ты, марсианка, мне оживший сфинкс,
протаявший в моё — лицом, ни разу
не бывшим тут, рванувшимся на риск
быть гостем пустоты — на риск, на розу.

Нездешний гость, фаюмский сад, пчела,
влетевшая в ушко из мельхиора,
ты плющишь губы о снежинку хора,
смугла и призрачна, чиста, черна.

Сирень брела как базилевс и жгла,
и Ангел мучил нас, чтоб в буре складок
вложить в пятак, сгорающий до тла
между сведенных ангельских лопаток.

* * *

*Одно из изобретений Леонардо да Винчи —
восьмигранный зеркальный внутри цилиндр, в
котором вошедший представлен в бесконечном
количестве экземпляров, ракурсов и отражений.
Изобретение демонстрировалось как-то летом
в здании Гума, и автор туда забредал.*

Восьмигранный зеркальный цилиндр леопарда из Винчи.
Льдинкой меж глаз он колдун. Здесь монетный двор. Ты — размножен,
твоя плазма, как баксы, вошла в оборот, ты разобран и свинчен,
много ветра — это просто клинок без ножен.

Они бродят пустыней, другие *ты*, сколько ж надо
твоих двойников, чтоб завести часы, где ты — в середине? —
больше, чем все родословное древо, и куст винограда
тикает в сердце, и кошка тает на льдине.

Много себя самого это мало ека-
терины, ее улыбки, клавиш, музыки на мяче.
Это и есть ваше общее тело — челка цвета талого снега,
разошедшаяся веером, словно бабочка на мече

самурайской стали. Мы были, стали.
Жизнь происходит быстрее, чем высыхает почерк.
Мы жили — вдоль, нас поперек листали,
как ветер — могилу, но это позже.

Мы разрастаемся врозь, обнимая солнце, чтоб не суметь
руке, распахнувшись, туда дотянуться, где пекло
остыло и стало золой и черным ребром на треть
и на четверть — пригоршней золотого пепла.

ЯХТЫ

G.H.

Иди туда, где вразнобой
чертят мачты петлю за петлей,
на цинковом небе, петлю за петлей,
не разговаривая с тобой.

Когда с ничего тоска
и холодок на виске,
сдуй серебро с виска
и ступай не к реке,

где форель, блесна, говорок
студеной, не про тебя
реки, как развязан шнурок

Меркурия, октября,

что, шаркает парой крыл
на пятках. Туда не ходи —
на склон дорогих могил
с лавровишнями впереди,

но туда ступай, где поцелуй
бредет, как верблюд,
среди переменных струй
дождя на пару минут,

уже не общий, ничей —
ни твоей, ни ее реки,
пропадающий, как в ручей
рубин с бедуинской руки.

Посмотри, облака плывут,
запаяны внутрь часы,
и не надо минут,
да и русалке волосы

сушить пора бы кончать.
Иди туда, где лишь шварк
по цементу да часть
жизни прошла, как парк.

Не надо, что стриж —
наизнанку перчатка с руки,
чем холодней стоишь,
тем теплее витки.

Не надо, что шприц
прозрачней, чем зимний парк.
Смотри — облака, и шпиц
кудряв, как в борту барк.

Опусти в перчатке тепло
на клавиш — метнутся стрижи,
и будет темно
под веками, как в глуши.

А теперь перетер — забудь.
За серебряную блесну,

за семь времен позовут —
не ходи, ни к чему.

Иди, где вразнобой
чертят мачты петли свои
и роговеет сухой
язык, как моллюск любви.

Пусть говорят, говорят
и не в склад, и не в лад,
чертят, плещут, скрипят,
хлопают и кроят.

Про себя, себя,
про облако и про как,
разжавшись, как пятерня,
ловит мачта луны пятак.

Их все пальцы дрожат
целятся в небеса,
где ангел медью зажат,
зажженной на полчаса.

Хлопочут, молчат, грозят
ни тебе, никому,
да листья к морю летят,
черному, одному.

АНГЕЛ

А. Парщикова

Я встал в дожде и башне. Он пришел.
Дождь башней был, а башня мной была.
А он пришел, как башня из дождя.
Он стал, как я. Да, вот еще — и роза.
Она была, когда стоял я в башне,
а думал, что в дожде, она была.
Я в ней стоял, а думал, что в себе.
Я в ней стоял, а думал я, что в башне,
когда пришел он из дождя и башни,
тогда я сам вместо нее пришел,

вернее — из нее. Так это было.
Я из нее пришел, из башни розы —
она была как башня и как я.
Дождь был не больше башни, но и меньше,
чем роза. Он пришел и встал в дожде.
Стояла роза в башне и дожде,
а он пришел и башня стала розой.
А я всегда был башней и дождем.
Потом дождь стал дождем, а башня башней,
и роза розой. Как зевок собаки
был вогнут каждый лепесток у ангела в руке.

ПРОХОЖИЙ

В осанку вправлена могила,
но не бездействует она —
царевны яблочная сила
в хребте прозрачном зажжена.

Но холм земной между лопаток,
как судорога крыл молчит,
и жар пустыни, синь и краток,
в лице, словно верблюды, стоит.

И челка черту отслуживши,
все в ветер входит, как в ковчег.
И весь он — взрыв стеклянной крыши,
и бабочка — ему ночлег.

АНЕМОН-АДОНИС — ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ АФРОДИТЫ УРАНИИ

Ты мной оброс, как в тине ящер
моллюском, птицами, вьюнком,
но выдвинут как света ящик,
ты в день, когда тебя кругом

она как озеро стояла,
а ты бежал как водомер,
той точкой, что вас в луч вязала

и углубляла, как карьер.

И был кабан, бортами сжатый,
в себя стопою углублен,
и клык пружиной, как лопатой,
тебя вскопал со всех сторон.

Как лязгнут стрелки у платформы
и с шипом брызнет Сен-Лоран,
тыходишь в губы их и поры,
слепой от ужаса и ран.

Простонародная — рожает.
Кабан шлюзует водопой.
В тебя Урания вступает,
как в зеркало воды живой.

МЕТАМОРФОЗА КУЗНЕЧИКА

Офелия, ты больше не поешь.
Тыходишь в бар и там стоишь как лодка.
Машинка крутит белые коктейли —
как будто на спине красавица лопатки.
Ты не поешь, и ты стоишь как лодка,
и сплющен соловей, как в серебро, в лопатку.

Метаморфоза — это бомба, на манер
упавших в Дрезден: принцип пылесоса,
не умноженья — вычета из недр
первоначальной формы — из лосося
потомство вычитает, например,
блеск в водопады вставленной пружины.

И каждый взрыв сплавляет по трубе
(ружья и миномета, «Града», пики)
первоначальные черты и лики,
сжимая их, выветривая до
морщин, развалин, почерка, червя,
слепой руки и ангела глазницы.

Так всасывает взрыв Офелию, когда
она сидит за стойкой в сквозняке,

чреватом бомбою метаморфозы,
как шелк наброшенный на арматуру.
Ей сутенер бормочет что-то в волосы,
но шелк уходит в пылесос, под ним — кузнечик,

огромный, со смертельными глазами.
Он по полу переступает и поет.
Его прыжок сметает скатерти и рюмки,
и на стоянке в унисон вопят сирены,
и в ночь уходит паруса полет,
наклонно, словно пластырь на скуле.

Она расширена прыжком до пустоты
и опустошена до лаза, как кроты.
Ты целовала волосы мои
в ночи, в сиянье сжатой наготы
сирени, что цвела в твоём окне,
и наша кровь по кругу шла по мне.

Кузнечик смерти верен и пригож,
как изо льда с присвистом взятый нож,
и я смотрю в твои глаза, на мне растёт кора,
ты — треугольник ног, и в нём — таран,
он взламывает лёд своим тоннелем,
и мы прижались днищами наружу.

Сильнее смерти тишина, кузнечик,
но превращений ей не отменить.
И в дирижабль собрались две ладони,
два эхо, отражение двух речек.
Я обожжен тобой до муки крестной.
И тает Бог, как айсберг, до гвоздя.

ВЕЩЕСТВО СОФИИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

Вы чувствуете это вещество.
И как только вы чувствуете его, вы начинаете смеяться и плакать.
Вы утром вынимаете его из-под ногтей серебристыми ножницами,
Оно раскидано по штольням и стволам голландского мира,
Продырявленного ангельскими мышами и тишиной.
Оно зажигает рубин тормозных огней и зелень первой кленовой почки.

Оно разбросано, словно замерзший хлороформ
В шестом аркане Таро, где двое влюбленных стоят,
Осененные крыльями ангела, погруженного в наркоз,
Потому что ему предстоит выкидыш — серебряная пудра
Холодящего бессмертия, эликсир, запечатывающий вход в женский
родник,
Оставляемый вами там, куда уткнется ваш взгляд — на наперстке,
Сорочке в губной помаде, поэте на сцене, из которого
Леопард вынимает сердце когтями
И никак не вынет, потому что оно все состоит из этого вещества и
В нем, в этом сердце, происходит встреча его течения изнутри и его
течения снаружи,
Как в Айкидо,
И кривятся платиновые когти — победителя не бывает.
И нет ему места в трех мирах — только небо вокруг,
Словно он сам — Кагэкиё или великий Лир.
И леопард состоит из желтого вазелина и рассыпанных шариков,
Искусственных волос и real dolly с вибрирующим родником и гортанью,
Отлитой точно для мужского члена,
Это она запускает краску ногтей в горло, обсыпанное серебристой
пылью и горчицей.
Но — приходит самурай и стоит насмерть за красоту мира, за его
кривые ножницы и
Народившуюся в молоке луну над рекой.
И в самурае вещества этого больше.
И больше его в юридивом и корове, говорящей МУ —
Звук, который четвертый патриарх дзен продолжил до тех пор,
Пока не растворился в азоте мира, как растворяется под языком
Ментол таблетки.
Она обнимала ноги Распятого и складки одежд ее натянулись.
В любых зеркалах они проступают с тех пор, если полить их эфиром —
Обозначение женственного поворота мира
Навстречу всему, что страшно.
И звезды-дети спят спокойно, и их эмбрионы меняются местами,
И говорят МУ или МА или что-нибудь студенистое —
Годунову, наверно, царю,
В живой пустоте вещества София стоит, пульсируя, как в стоп кадре,
летающая пуля,
И вы растворяетесь в пустоте, обнимая
Маму или подругу, потому что вы есть лишь тогда, когда вас нет.
Ледяной самолет жизни уже растворился в вашем зрачке,
С красным языком, вмерзшим в протаявший борт
Словно петуший гребень.

И все это лишь — слова, шмотки, лоскутья —
А София — это вы сами в саду невесомости,
Парящие в бессловесности листьев, птиц и серебряного родника
Между одним мизинцем на правой руке и на ней же — другим.

АТАЛАНТУ И ГИППОМЕНА РЕВНИВАЯ АФРОДИТА ПРЕВРАЩАЕТ В ДВУХ ЛЬВОВ

Связали Аталанту бегом,
ребром и яблоком двускатным,
и сицилийским тяжким веком,
и глазом долгим и мускатным.

Они подброшены любовью
и в воздухе стоят отдельно,
в них входит Гиппомен, как в поле,
сжат до костра, разжат постелью.

Костер сухой с форелью зноя
растет, звезду превозмогая,
и рыщет фаллос львом безногим,
плеснет весло, как дочь нагая.

И Афродита под грозою
разроет стог разворошенный,
чтоб гривой львицы золотою
пророс над грудью обнаженной.

И бросила пловца на лоно,
чтоб поднятым под небо взрывом
он врос, разбрызганно и плавно,
в девичью шею красной гривой.

И с яблока, не отрываясь,
снимала золотую шкуру,
и та, как грива, завивалась
вокруг висков, дымясь от жара.

Два льва, рыча, влекут повозку,
и, как костер, стоит меж ними
освобожденная от воска

перчатка с пальцами святыми.

ВЕРБЛЮД АХАШВЕРОША

Он заряжен дорогой, словно стрелой ружье пружинного боя.
Какие города вжаты в него, чертополох, аэродромы, харчевни!
Какие слова не наставшие — в нем уже говорят! Две волны прибоя,
сухие, выхлестывают наружу, чтобы пройти кочевьем.
Он сжат, как кулак, который исчез, он — вместо остался.

Ты сжимаешь горизонт до себя, как спидометр дожимают к двумстам.
Ты расслаблен, словно медуза в шерсти, завершаясь плевком.
Ты всегда оставался взведенным курком,
чтоб хамсин, завывая в стволе, лупил в Кыргызстан.
Ты ни с кем не знаком, нарезной, в одуванчиках, ком.

Ты сжигаешь горбы, как в округе горят стога,
и ты плющишь свой нос у Синдбада под каблуком.
Тебя звезды едят. Тебе посбивали рога
серафимы, чтоб вверх восходил ты не ими, не ими — в другом
украшенье — усилье, Хорив заводящим за облака.

Мне податься к тебе — натянуть пружину звезды,
а уйти от тебя — натянуть тетиву горба.
Мне уменьшить тебя, отдаленного за бархан —
значит вырасти до небес, как Иов или мольба;
увеличить — пропасть, испариться слюной в орган.

Это словно корча мужчины, когда
он рождается женщиной, в деву войдя,
ставшую мужем на миг, и за каплей дождя
примолк соловей, чтоб разжаться до мира потом.
Кто кого восполняет, тычась меж губ языком?

Кто отдал, кто принял ментоловую слюну?
Чтоб попасть в этот ритм, заходи за моря, за свет.
Парфенон и волна — одно, Ангел и Тохтамыш —
как волна и впадина, и океану всему
их не разнять. Ты — из этого состоишь.

Вот дева идет, вогнута, хороша!
Паровоз через Альпы бежит, девочки в белых платьях —

дочка императрицы с подругой на задней площадке
последнего из вагонов, к ним кузен в мундире прижался,
смеется, сжимает бедро, ласкает пах, как игрушечную лошадку, —

девочки, поцелуйтесь! — хохочет. И вокруг — весна,
снег валится со склонов, с елей, бегут ручьи. Поезд застрял в весне.
Она думает — ведь все это только сон, только игра, игра...
Звезды, мой Ангел, они, зверей носящие в чреве,
носящие в чреве героев, богов, близнецов, пожары, чесотку,

сегодня и каждый миг хоть на миг, на каблук, стоят они в паузе мира —
со всеми событиями сразу от сотворенья. Давно я свой начал путь,
переворачиваясь меж звезд и богов, как песочные, вычурные с кровью
часы,
из себя в себя перетекая, и этим давая власть Богу
остаться неузнанным, мной — в точке переворота, у моего окна.

МАГДАЛИНА

Лесе Тышковой

Не каменными с крошкой полотенцами,
не в сланцы плача лодкой зарываясь, —
землей себя, проросшей померанцами,
к угашенному солнцу поднимаясь.

Форелью жили руки, столб обнявшие,
ныряя вверх, откуда смерть стекала,
пружиной жадной серебро вгонявшие
до камня, буруна и до начала.

А тот, кто *был* так, что качались заводи
и стриж летел, и лодка проходила,
он над тобой теперь подвешен за руки,
и ты в него ссыпалась, как в могилу.

И, скошена, как берег над излучиной,
теперь была ты дочерна прорыта
стрижей ходами, норами и тучами,
и стонами, и визгом птицевидным.

Тебя уже приподнимали нехотя

соборы, рощи, тучи с дирижаблями,
за тросы, ветки, раковины, неводы,
за пыль дорог, за витражи и жабры.

Он стал могилой с негашеной известью,
для всех пропащих углублен и вырыт,
как белый флаг о пораженье — жилистый
от мощи смерти и от гущи мира.

И с берега, прорытого стрижиными
ходами, перевернутый, бросался,
раскинув руки над миров кувшинками
в загустевающее им пространство.

И шли верблюды. Ты ползла как липкая
улитка и стелилась, роговея,
по брусу вверх, и сматывался ниткою
в спираль и горб — твой путь, звезды правее.

Ты припадала, и ты липла намертво,
и, силой этой сдвинута, сходила
на послезавтра, как корабль со стапеля,
свой свет не удержавшая могила.

И из ладони, до земли умноженной,
не Богом — невозможностью спасенья,
ты прорастешь сквозь смерть, собой доношена, —
в ребро и луч, и пламя Воскресенья.